

## Шп и т а т ы

Равнодушно слушая проклятья  
В битве с жизнью гибнущих людей,  
Из-за них вы слышите ли, братья,  
Тихий плач и жалобы детей?

### I

Я шел из города домой к себе в деревню... Дело было в ноябре, погода стояла гадкая, дорога еще того хуже, день короткий, как говорится, «с воробьиный хвост»... Я запоздал, стал торопиться, устал до смерти и не заметил, как настигла и словно шапку мне на глаза нахлобучила темная, осенняя, долгая ночь.

Волей-неволей пришлось, не доходя верст десять — двенадцать до дому, заночевать в деревне.

Деревня была знакомая, сам я недалний, и поэтому я, не робея и надеясь, что пустят, постучался в окошко первой же стоявшей на краю избытки...

— Кто тамотка? — раздался из избы бабий визгливый голос.

— Я!

— Да кто я-то?.. Чего надуть?.. Кого тебе?

— Пусти ночевать... заплачу...

— Да ты откуда?..

Я крикнул «откуда» и стал слушать, что будет дальше.

— Андрей, а Андрей, — услышал я бабий голос, обращавшийся к кому-то, — Андрей! Да проснись, лешман!.. Андрюх!..

— Н-ну!..— глухо донеслось откуда-то, точно из-под земли.

— Стучится кто-то... выдь, посмотри...

— Кто там у тебя стучится?.. Кой черт по ночам?.. Спокою нет!

— Да встань, дьявол!.. Чай, все бока пролежал... Выдь, может, дело какое!

Голоса замолкли. Я стоял под окном и ждал. Из окна падал слабый свет ко мне под ноги и блестел в луже, а около меня и дальше везде стояла тьма, тихая, густая и какая-то пугающая, страшная.

Где-то недалеко стукнуло... Скрипнула дверь и почти рядом со мною раздался голос:

— Кто здесь?..

— Пусти ночевать,— сказал я, не видя, кому говорю.— Запоздал, вот... устал... не дойдешь теперь до дому...

— А ты откуда?

— Да недалний, из Лескова.

— А ты где был-то?

— В город ходил.

— Зачем?..

— Да надо... по делу.

— Да у меня тесно... повернуться негде... беспокойно... ребятенки... челедни-то этой, окаянной, полна изба... По мне, иди, коли охота, не жалко.

— Ничего,— сказал я,— как-нибудь обойдемся... не привыкать... у самого дэма «челедни» этой хоть отбавляй.

— Ну, иди.

— Куда?

— Эва!.. Иди ко мне на голос... крыльцо тут... ступеньки... лоб не разбей... Идешь?

— Иду... где ты?..

— Эван вот... полезай... нашел крыльцо-то?..

— Нашел... слава богу.

— Ну, и ладно... эка тьма-то!.. Ни фи́га не видать... как ты шел-то?

— По памяти...

— Чай, грязи-то нахлебался? Идешь? Пойдем в избу... Эво она, дверь-то в сени... нашупал?.. Не упади... иди за мной... держись... хоромы-то у меня уж очень просторны.

Где-то в потемках он нашупал скобку, дернул за нее

и, отворив хлюпнувшую, точно кто-то чмокнул губами, дверь, сказал:

— Полезай!

Я нагнулся, чтобы не удариться о косяк головой, и, держа обеими руками перед собой мешок с покупками для дома, пролез в избу. Он шагнул за мной и плотно прихлопнул за собой опять так же чмокнувшую дверь.

## II

— Здорово живете! — сказал я, остановившись у порога и почти касаясь головой потолка.— Пустите ночевать.

— Здравствуй! — ответила стоявшая у стола высокая, худая, обтрепанная баба, глядевшая на меня и на мой мешок огромными, удивленными и вместе испуганными глазами.— Проходи сюда... эва... положи мешок-то!

— Ноги-то у меня больно того...— сказал я.

— Наплевать! Пол-то у нас не паркет... Эна, огню присечь! — сказал мужик, такой же, как и баба, худой и длинный.— Чай, мы не господа... проходи к столу... положи мешок-то... не бойся, все цело будет. Не взыщи, тесно у нас... плохо живем.

Я как-то боком, мимо заваленной всякой дрянью «казенки», пролез на указанное место и, чувствуя, что устал до смерти, сел на скамью.

— Теснота у меня,— снова повторил хозяин.— Плохо живу.

Этого ему и говорить было не надо. Я сразу и сам увидел, что действительно «плохо».

Грязь, неряшливость, теснота, какие были здесь, в этой избе, не скоро пайдешь.

На столе, стоявшем, как и водится, в переднем углу под «богами», было загажено и залито чем-то, по всему вероятно щами, стояла неубранная чашка и валялись ложки.

Стеклянная небольшая лампочка с нечищеным матовым «пузырем» висела над столом и скупое и печально, точно готовая заплакать от стыда, освещала всю избу.

В избе действительно, как давеча выразился хозяин, повернуться было негде. Сама по себе маленькая, аршин семи, с бревенчатым полом, кое-как стесанным топором,

с низким потолком, с тремя оконцами на улицу, она была еще почти наполовину занята печкой, начинавшейся сейчас же налево от входной двери, и около нее «казенкой», заваленной разной дрянью и служившей для спанья. С этой «казенки» лазили на печь.

Посреди избы, на очепе, висела большая корзинка-люлька, закрытая какой-то тряпкой. Там, в этой люльке, что-то по временам тихо, точно щенок, взвизгивало.

Около устья печки на скамейке стоял большой, сделанный из белой жести, странной формы неуклюжий самовар, а над ним на полке виднелись чайные чашки.

Тяжелый и какой-то особенный, присущий только отчаянной бедности, воздух стоял в избе и нагонял на душу ту тоску, от которой либо «пьют мертвой чашей», либо «бегут, куда глаза глядят».

Детей, «челедни», как выразился хозяин, когда я вошел и уселся к столу, не было видно; они, как оказалось, забились на печку, где сидели, притаившись за трубой, невидимые мне, но хорошо видевшие меня.

Хозяин сел на казенку, свесив ноги, обутые в валенки, и, свернув папироску, встал и закурил не от спички, а — по всему вероятно, ради экономии — от лампочки, вынув ее предварительно из гнезда, в котором она стояла. Хозяйка взяла мочалку и начала стирать со стола.

— Поужинали недавно, — сказала она, точно стыдась и оправдываясь. — Не успела стереть-то... Насилу ребят вон угостила.

— А у тебя их много? — спросил я, точно так же, как и хозяин, закурив папироску. — Не видать что-то!

— Мало ли! — ответил за нее хозяин, куривший и плевавший на пол. Своих трое да шпитат вон, дери их дером, двое... в люльке вон... издыхают, да не издохнут... покою от них нету ни дня, ни ночи...

— Что ж вам, своих-то мало? — спросил я.

— Стало быть, мало! — сердито, как мне показалось, метнув на меня глазами, сказал он. — Небось сам понимать должен, не от радости берем... нужда наша берет... не от радости... Кабы не нужда, на кой бы они черт нужны... провались они провалом! Они мне поперек глотки встали... Не от радости, — опять повторил он и вдруг страшно и надолго закашлялся.

Он перегнулся с казенки к полу и кашлял как-то особенному, точно у него все нутро выворачивало или

точно там у него сидел кто-то и, вцепившись, не отдавал и не отпускал.

Его худое лицо сделалось синее, страшное и, когда он, наконец, к великой моей радости, перестал кашлять и поднял его, все оно было залито слезами, а подслеповатые глаза как-то особенно жалко и робко моргали, точно стыдась чего-то, плакали про себя.

— Эх ты, друг! — сказал я. — Давно ли это ты?..

Он махнул рукой и не ответил.

— А кто же виноват-то? — вступилась молчаливая баба. — Никто не виноват... сам себя ухайдакал... пил бы поменьше!.. Надясь к доктору ходил... что он тебе сказал-то, а?.. А ты что?.. Сам виноват!.. Ноне вон чем свет нажрался где-то, пес его знает... выспался... дрых весь день, а теперича издыхает... Никто не виноват, батюшка, никто... сам себе лиходей... Что уж, какие с ним из-за этого вина неприятности были!.. Нет, все нейметя. Так вот и вцепится, как увидит!.. Видно, с тем и во сыру землю пойдет... видно, черного кобеля не вымоешь добела...

— Затрещала, трещотка, замолоча! — взглянув в ее сторону, сказал мужик. — Много ты смыслишь!..

— Ты много смыслишь... ишь сидит с умной-то головой!.. Куда ты годеи-то? Трубы тобой затыкать, ей-богу... наказал меня господь!

Они начали переругиваться и корить друг дружку. Это мне надоело, и, желая прекратить перебранку, все больше и больше принимавшую, так сказать, зловещий характер, я сказал, обращаясь к мужику:

— А ты, чем так мучиться-то, поправился бы... хлопнул бы сотку.

— А на что хлопать-то? — воскликнул он. — Я бы и без тебя знал, что делать, да не за большим дело: хлопалов-то нету. Ты вот не выручишь ли, а?

— Гм! — усмехнулся я. — А баба-то?.. Она нам пропишет по первое число!..

— Наплевать я хотел на бабу... ба-а-ба! Чай, я кто? Я хозяин! Да она и сама не откинет.

— А у вас тут найдется?.. Есть... занимаются?..

— Ну, вот сказал!.. Сколько угодно...

— Что ж, я, пожалуй, дам на половинку... Только вот самовар нельзя ли поставить?.. Чай у меня есть... попить бы... устал очень.

— Можно! Это можно! — обрадовался он и соскочил

с казенки.— Аксинь,— обратился он к жене, и голос у него сделался совсем не тот, что был за минуту до этого.— Где у тебя тут спасудинка-то пустая?.. Слетаю я живым манерцем к Бурixe, а ты тут пока самоварчик.

— А закусить-то? — сказал я.— Чем закусить-то?.. У вас есть что-нибудь?..

— А что у нас?.. Хлеб есть...

— Грибы есть соленые,— сказала баба,— волнушки...

— Ну, коли так, так так,— сказал я и дал мужику рубль.— Принеси половинку. Лети!..

— Ты, мотри, скорейча,— сказала ему вслед баба, когда он, торопливо накинув на себя одежонку, бросился к двери,— не пропади тамotka с целковым-то...

— Ну тебя к черту!..— крикнул ей мужик.— Дура косматая! — и скрылся за дверью.

### III

Мы остались вдвоем. Баба подошла к люльке, откинула тряпку, посмотрела и про себя сказала:

— Спят, угомонились,— и, повернувшись ко мне, добавила: — наказание мне с ними, голова кругом идет... боюсь, как бы помрачение мозгов не сделалось...

— А что?..

— Да орут все и день и ночь, день и ночь. Грыжа, что ли, пес их знает!.. И не подыхает, заметь, ни один!.. Наказанье господне!

— Больны, стало быть?..

— Притка их знает... надоели... николи у меня таких не было...

— Сколько же их у тебя там? — заинтересовавшись и все еще не понимая путем, в чем дело, спросил я.

— Да двое... оба парнишки... одному-то году нету, а другому-то поболее... плохие-то, расплохие... помрут беспреремно...

— Жалко?

— Чего их жалеть-то? Не свои, чай... шпитаты!..

— А-а-а! — протянул я, поняв, в чем дело.— Ну, это дело другое... а свои-то где?..

— На печке... тоже смерти молю и нашим... подошли бы — свечку поставила бы... Так разводить самовар-то?— спросила она, перебивая свою речь.

— Разводи.

Она начала возиться около устья печки, разводить самовар, застучала ведром, стала наливать воду, затрещала лучиной, загремела трубой...

— А у тебя много ль добра-то этого? — спросила она от печки.

Я не ответил ей и в свою очередь спросил, думая о «шпитатах» в люльке:

— Что ж, у вас корова есть?

— Какая у нас, батюшка, корова! — как-то даже радостно крикнула баба, точно я спросил у ней что-то смешное.— Что это ты, господь с тобой!.. Нет у нас ничего... ничего... ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни собаки... одна кошка да петух с курицей... Ничего нету, все разбойник решил!..

— Как же вы живете-то?.. Чем?.. По миру, что ли, ходите?

— Нет, пока бог миловал... по миру не ходим... Шпитатами вот питаемся... ими живем...

— Та-а-к! — протянул я опять, поняв, в чем дело.

— По четыре бумажки за каждого получаю в месяц,— продолжала она,— восемь за двоих-то... Кой-как дышим.

— А как помрут?

— А других дадут... мало этого добра-то, что ли?

— Да как же тебе дадут-то? Небось тоже зря не дают... не щенки ведь?

— Знамо, не щенки... На молоко дают.

— На какое молоко?

— На материнское.

— Да какое же у тебя молоко?

— А я за вынос плачу... мне не самой дают... мне выносят...

— Это что же за штука такая «выносят», не пойму я... как так?

Баба засмеялась, отошла от печки и, усевшись к столу, насупротив меня, воскликнула:

— Да неужли ж ты не знаешь... не слышал, какое это дело?

— Да не к чему мне было знать-то,— сказал я.

— А это, вишь ты, как делается... расскажу я тебе, родной ты мой, как звать тебя — не знаю, очинно все просто... Помрет вот, скажем, у меня щенок, сейчас я бабу начну искать по слухам, которая недавно родила... най-

дется такая бабенка подходящая... я к ней... так и так, мол, много ль возьмешь за вынос? Ну, за рублевку, за полтора, глядя по человеку, стакаемся... Пойдет она в Москву, в гошпиталь... отсюда мне и вынесет младенца, а уж тутотка сама с ним как хочу... Про-о-стое, родной, дело!

— Чудно! — воскликнул я.— Ну, а как же потом-то ты с ним?

— Рощу, кормлю, покедова не помрет.

— Чем? Коровы-то ведь нет!

— На соску сажаю.

— Живут?..

— Нет, у меня, бог миловал, не живут...

— Сколько же ты их эдаким манером...— я хотел сказать: уморила, да язык не повернулся, и я спросил: — вырастила?

Она поняла и, глядя на меня мутными, точно в них кто-то свинца налил, глазами, сказала:

— Двоих схоронила...

— Ну, а как не помрут,— спросил я,— выживут... тогда как?

— Спаси, царица небесная! — с нескрываемым страхом воскликнула баба.— Ну их к шуту!.. Ведь за них, за махоньких, по четыре-то бумажки дают, а начни подрастать — цена другая, все меньше, а там, годам к шестнадцати, и вовсе ничего не дают... ну их к ляду!

— Этим промыслом, значит, живешь?.. А муж-то?

— Муж по роцам ходит... в роцах работает.

Замолчали. За дверью на мосту замяукала кошка... На печке завозились, и оттуда раздался детский, сквозь слезы, громкий шепот:

— Ма-амк, а мамк!

— Ну, чего тебе? — подняв голову, спросила баба.

— Выйти хо-о-чу!..

— Иди, дурак!

— Бо-о-юсь!

— Не бойся... дядя ничего... он не тронет...

— Бо-о-юсь!

— Ну, шут с тобой!.. Сиди так... Я тебе шкуру-то спущу, коли что! Что ж это он не идет так долго? — спросила она, глядя на меня.— Самовар сейчас поспеет, а его все нету...

— Не знаю... А не загуляет он с рублем-то?

— Притка его знает... от него всего жди: стыда нету,

потерян в нем стыд-то... Землю хочет продавать и с местом и с усадьбой — двести ишь ему дают за нее...

— А сам-то куда же? Как?..

— Шут его знает, об чем он думает!.. Пропьет все — и концы в воду! Хочу к земскому сходить... остановит, может... не даст вольничать-то! У меня дети, куда я с ними денусь?.. А, как думаешь, можно? Не даст?.. Остановит?..

— Не знаю,— сказал я, начиная чувствовать, что на меня находит какое-то особенное тоскливо-гнетущее настроение.— Не знаю... сходи...

— И то сходить надо,— сказала она и, поднявшись, направилась к печке.— Чу, бежит,— приостановившись, сказала она.— Пылит! Наш атлас не уйдет от нас...

Действительно, на мосту слышались торопливые шаги, дверь распахнулась, и в избу, запыхавшись, вошел мужик.

— Заждались? — сказал он, сбрасывая с себя на казенку одежду.— Какая штука-то,— продолжал он, подойдя к столу и ставя на него бутылку с водкой.— Нету ведь половинок-то... все расхватали! Я уж вот эту одну цельную взял... думаю себе: «Не пустом надоть бечь... все одно, думаю, коли не велит, назад снесу... деньги получит...» На, сдачу-то получи... значит, пятьдесят две за эту. Сколько сдачи-то?..

— Сорок восемь небось,— сказал я, глядя на его веселое, возбужденное лицо и читая на нем, как по книге.— Сорок восемь.

— Так ли? Сосчитай, мотри, верно ли? Гляди, двугри-венный-то не фальшивый ли?.. Всучит — ищи потом ее... тоже бабочка-то огурчик! Ну, что ж самовар-то? — обернулся он к бабе.— Аксинь, самовар-то у тебя поспел? Закусить-то ты приготовь... грибков-то...

— Да уж сядь, сиди,— сказала баба, снимая с поспевшего самовара трубу,— успокойся... завертелся, веретено... рад! Обрадовался на шельмовщину-то... дорвался волк до падали! Ишь глазищами-то вертит... так бы, думается, все со стеклом вместе и слопал!

— Где грибы-то у тебя?.. Че-е-ерт! Чума! Ляпа! — заорал на нее мужик.— Я сам возьму... ей, дьяволу, дело говорят по-хорошему, русским языком, а она сейчас рыло на сторону... Посажу вот на цепь и твяккой... брехло!.. Где грибы-то? — повторил он.— В чулане, что ли?

— Погоди, успеешь!

— Нечего годить, коли поп пошел кадить... давай! Человек устал... може, не жрамши... эдакая-то дорога! А она свое... И как только тебя господь батюшка, царь небесный, донес? — обратился он ко мне.— Дивное, сейчас умереть, дело, как ты дошел только?.. С устатку-то тебе теперича и, боже мой, как же!.. Открыть, что ли, пока?.. Спустить собаку с цепи?

— Как хочешь... открой, пожалуй..

Он живо, ловко, с любовью и охотой вышиб ладонью по доньшкy пробку и, посмотрев на свет замутившуюся водку, тоном знатока сказал:

— Настоящая!.. Ну, а все супротив прежнего много плоше... Бывалочка, я в те поры на фабрике жил, чикнешь смирновской двадцать первый номер али поповской, вдовы Поповой, двадцать шестой — сердце прыгает, фиалка! А это что, известка! Давай скорее грибов-то... человек закусить хочет, а она ковыряется... бисер нижеет...

Баба принесла откуда-то в чашке соленых осклизлых грибов «волнушек», поставила их на стол, отрезала два ломтя хлеба, положила три заржавленных, с самодельными ручками вилки и подала самовар.

— Садись,— сказал хозяин,— подвигайся... залезай за стол-то... вон в углу-то...

Я поднялся и, чувствуя себя хозяином положения, залез в передний угол.

— Чем пить-то будешь? — спросил хозяин, волнуясь и горя нетерпением поскорее «глотнуть». — Рюмочку подать, али как? — И, не дожидаясь, что я скажу на это, продолжал: — Да чего, правда, рюмочкой-то? Не превышны мы к этому... по-нашему, раз выпил чашку, и кончено, дальше ехать некуда!..

— Верно,— согласился я и, налив чайную чашку водки, подал ему.— Пей... поправляйся!

— А ты сам-то... ты хозяин!

— Пей!

Он взял и жадно выпил. Я налил еще и подал бабе.

— Пей!

— О-о-о!.. Много,— сказала она,— запьянею...

— А ты, дура, бери, пей, коли дают,— поддержал ее хозяин,— не много будет... в самый раз!.. И не господь ли тебя нанес сюда, ей-богу! — обратился он ко мне.— Думано ли?.. Ан вот, вишь ты, господь-то!..

Баба приняла из моих рук чашку и стала не пить,

а тянуть из нее водку как-то особенно долго и мучительно-гадко.

Она выпила всю, обтерлась рукавом и, облизнув губы, сказала:

— Спасибо, родной, за угощение.

— Не за что,— сказал я.— Давайте теперь чай пить... там вон у меня в узелке... дай-ко его сюда...

Она передала мне узелок. Я достал купленный в городе чай, распечатал четвертку и засыпал сколько надо в грязный, с отбитым носком чайник. Баба заварила его кипятком и поставила сверху самовара на конфорку настаиваться.

— А ребятишки-то,— спросил я,— тоже небось чаю хотят?.. Кликнула бы их с печки-то... чего они забились туда, боятся?..

— А ну их к черту! — ответил хозяин.— Ну их... надоели... Меледня окаянная! Часок без них посидеть, вздохнуть... Не издохнут! Недавно ужинали, щи жрали.

Я посмотрел на него, и сердце у меня сжалось.

«Да,— подумал я,— от этого жалости к детям, да и вообще к кому бы то ни было ждать навряд ли можно».

Он сидел напротив меня и вертел длинными, тонкими, дрожащими пальцами папироску. Худое его лицо было желтовато-бледно... мосталыжки скул на обеих щеках выделились вперед... под глазами были синяки, точно у беременной бабы, а тонкие, белые, с пеной по углам губы поистине были страшны... так вот и думалось, что он сейчас откроет рот и начнет кусаться...

— Погоди, всяё ночь спокою не дадут,— продолжал он.— Дай-ко вот эти,— он кивнул на люльку,— сволочи-то подкустовские, глаза продерут... завязывай глаза да беги!

— Не скоро продерут,— сказала повеселевшая, с выступившими по щекам пятнами баба,— не скоро!.. Я им маку дала... спят, аки мертвые...

— Маку? — переспросил я.

— Да... спасибо, научили добрые люди. Разотру его мелко-намелко, да с чаем с крепким, либо так с водицей тепленькой дам, они и спят, не блажат, аки убитые.

— Вред это им,— сказал я,— вырастут — дураками будут.

— Наплевать, а нам что! — равнодушно сказал хозяин и добавил, жадно затягиваясь: — Небось не вырастут...

отправим, куда надо! Этого добра много... других дадут... тамotka их девать некуда... бери только, сделай милость... Нам деньги нужны, живем этим... существуем...

— Чем же ты их кормишь-то? — спросил я, немного помолчав, у бабы.

— Да чем? Соску даю... нажую хлеба... суну...

— Черного?

— А то какого ж рожна им?.. Когда, бывает, баранку нажую...

— А поишь чем? Молока, говоришь, нету.

— Пою-то?.. Чаю вот даю... водицы теплой... А то чем же боле?.. Не велики господа-то! Мне их выхаживать-то какой расчет... Чем скорее помрут, тем для меня складнее...

— Так ты дала бы им прямо уж яду какого-нибудь, — сказал я, — и конец... чем мучить-то!

Запьяневшая баба рассмеялась.

— И то взаправду, — сказала она, — дать нешто?.. Неловко только, боязно... объездной узнает. Да они и так не жильцы, они и так сдохнут, и без яду. Те вон у меня, двое тоже, обе девочки, скорехонько убрались... Одна трое суток только всего и пожила-то, а я под ее билет в лавке опосля этого два месяца забирала, быдто под живую... Мне расчет... В те поры у меня и дело-то это внове было, дура я была, порядков не знала, всего боялась, теперя-то вот я привыкла, нагляделась, увидала, как добрые-то люди делают... Вон Наталья Бараниха шестерых вынесла...

— Что ж, все и того... померли?..

— Все, знамо, а то как же?

Я замолчал и глядел на нее. Она тоже с улыбкой на тонких губах глядела на меня, и в ее свинцовых, еще больше помутившихся от выпитой водки глазах ничего не было, и от этого «ничего» было, после только что слышанного, невыразимо страшно.

— Перебил ты меня, — не дал досказать, — начала она снова, — как я с первыми-то... Принесла это я, помню, девочку домой, думаю: чем поить? Дала чаю... сделала крепкого, раскрепкого: думаю, посытнее, мол... Кричит моя девка, дерьмя дерет... А он, — она кивнула на мужа, — говорит, как сейчас помню: «Возьму, говорит, я ее за ноги да шпокну об угол... только и всего, и не надоть мне твоих четырех целковых». Ну, ладно, — продолжала она, облизнув губы, — орет и орет. Я ей соску нажевала, сунула...

стала сосать, затихла... уснула... Побежала я к Баранихе... «Как, мол, мне... научи? Благая, говорю, притка ее задави, навязалась... покою нет... сам сердится...» — «А ты, говорит, поди возьми в лавке на нее под билет круп грешных... свари кашку... давай ей... у нее животенко-то разопрет с каши-то... начнет пучить, она и замолчит. Помрет, говорит, а ты под билет-то бери, не сказывай, что померла-то она... вот и все... А то, говорит, чаем ее крепким пой... тоже хорошо помогает»... Так я и сделала... сварила каши, дала ей... И что ж ты думаешь, родной ты мой, в эту ж ночь раздуло у ней весь живот... вот этакой стал... аки барабан, да синий весь... и сама вся посинела... Кричала, кричала — померла!..

— Грех,— сказал я опять, не утерпев.— Нехорошо!.. Богу ответ дашь...

— Знамо дело, грех,— сейчас же согласилась она,— я и попу на духу про это же про самое сказывала.

— Н-ну? — удивился я.— Что ж он тебе?..

— Да что ж он?.. Ничего, простил: ему-то что?.. Да опять нешто он не знает нужду-то нашу? Да ведь и то сказать: куды их девать-то?.. Много уж их оченно, страсть!.. Бери только — и не жалко, еще патащат.

— Матерей бы, паскуд, давить надоть,— сказал молчавший хозяин.— Потаскушки, анафемы!.. Была тут у меня одна недавно,— продолжал он.— Приезжала из Москвы... на свое глядеть... Тамотка ведь известно, куда отдан-то... Узнала, приехала... повернула хвостом, да и лататы...

— И-и-и, батюшка, что было-то только! — вступилась и перебила его баба.— Что было-то. Слез-то сколько — конца-краю нет! Приехала это она с машины поутру... гляжу я, господи твоя воля, кто такое?.. Одета исправно, по-господски, сама тонкая, молодая. «Здесь, спрашивает, младенец такой-то?» — «Здесь»,— говорю. «Я, говорит, мать ему, посмотреть, говорит, хочу...» — «Посмотри, говорю. Вон они в люльке... Двое их у меня, говорю. Твой вот этот». Посмотрела она, всплеснула руками, залилась... Накатило на нее: бац об пол... очнулась, уж она над ним сидела, сидела, плакала, плакала, плакала, бормотала, бормотала что-то такое, не поймешь, про себя, индо мне со стороны глядеть жалко стало. «Господи, говорит, грязный какой он!.. Умрет он здесь у тебя...» — «Ничего, говорю, сударыня, авось, бог даст, цел будет, выживет... Воля

божья!..» Улещиваю это ее... думаю себе: «Не даст ли, мол, чего»... Умасливаю всячески...

— Умаслила,— перекосив рот злобной усмешкой, перебил муж.— Много дала: дала, сволочь, целковый, да и уехала... и то уж пристал я к ней без короткого, а то бы и целкового не дала: «Нету»,— говорит... Шлюхи! Нагуляют, набегают, так и надоть... Ну их к черту!.. Пей вино-то!.. Глядеть на него принес я, что ли? Посуда чистоту любит.

Я молча, думая свои думы, налил ему еще чашку. Он еще с большей жадностью, чем первую, выпил ее, запьянел, и тогда я увидел, что сделал на свою шею нехорошее дело.

В бутылке осталась еще водка. Мужик стал приставать, чтобы я ему налил «остатки»... Баба, вероятно, зная по опыту, что будет из этого, не давала. Они стали ссориться. На печке заплакали дети, и опять точно так же, как и давеча, раздался оттуда громкий шепот:

— Ма-а-амка... не давай! Матушка родима, не давай!..

— Молчи, чертенок,— повернувшись к печке, заорал мужик,— убью, сволочь, об угол расшибу!

— Полно тебе,— сказал я, не зная, что делать,— ну, на, выпей, не кричи только; давай поговорим по-хорошему...

— Чего она меня учит-то? Чай, я не махонький... Я — хозяин. Водки ты мне поднес, угостил, спасибо, а учить меня пецего... я учен-переучен... знаю... писквозь все вижу, в ком что есть... Решаю все! — с пьяным воодушевлением вдруг закричал он и ударил рукой по столу.— Все к чертовой матери!.. Не желаю!.. Продам все!.. Землю продам... сруб, избу вот эту... яблони у меня есть... все!.. Купи...

— А сам-то?..

— А уж это дело не ваше, сказала мамаша... Нет ли у тебя охотника?.. Скажи: продает, мол, Ларивон Орлов все... У меня живо. Орел ведь я, а? Как, по-твоему, а? Орел?

— Орел,— согласился я, глядя на его страшное чахоточное лицо и ругая себя в душе за то, что напоил его.— Орел... Ложись теперь спать, да и я лягу: устал... ноги болят...

— Что ты меня укладываешь-то?.. Спи, а я не хочу... не желаю я спать... Орел я, а?.. Говори: орел, а?

— Да отстань! Чего ты пристал-то к человеку? — вступилась баба.— Налил бельмы-то... дорвался!..

— Мо-о-лчи!..

— Ну, ну, а ты не очень-то шабарши-то! — повысив голос, сказала баба,— не очинно-то тебя, гнилого пса, бояться... По-намеднишнему ошарашу поленом, тронь только!.. Пришибу, истинный господь, как собаку, и отвечать не стану... Сиди уж, где сидишь... лопай, черт паршивый!..

Мужик, к крайнему моему удивлению, ничего не ответил на это, замолчал и глядел на нее, моргая глазами да облизывая языком углы губ, где выступила слюна — пена...

— Воин... Аника,— продолжала она.— Воюй вон с ребятами! Не больно-то тебя бояться... страсть какая... дармоед дохлый!.. Куда ты годен-то? На фабрике жил,— обратилась она ко мне,— прогнали... руки длинные... протягивать стал, где плохо лежит... В городе поступил в сторожа, выхлопотала я ему через знакомую одну, к Василь Василичу Россолову,— знаешь, небось? — прогнали... не нужен. Теперича вот по рощам ходит... в рощах работает... А какой он работник? Какая от него прибыль? Грех один! Кабы не я... кабы не шпитаты эти, истинный господь, надавай суму, да и иди по миру... Только шпитатами и дышим... кормимся ими... Ты давеча вон сказал: «грех»... Знамо дело, грех, а как быть-то, научи!.. Сладко мне тоже? Нешто я так бы жила-то, кабы не этот черт? Подохни он, у меня совсем другое дело пойдет... и землю бы не бросила... держала бы... и коровка была бы, все бы было!

— Оно и видно,— ухмыляясь, произнес мужик,— хвалится!.. Куда ты без меня?.. Хы... дура! Пропадешь, как капустный червь!.. Ду-у-ра, боле никаких!.. Знамо дело, я тебе теперича не нужен, по хворости по своей не ублагодворяю тебя, паскуду... Тебе другой нужен... Гришка вон рязанец с барского двора теперича тебе нужен!.. Он, знамо, вкуснее!..

— А тебя завидки берут, а? Хи, хи, хи!.. Не с тобой сравнять, известно... испугалась я тебя!.. Я не таюсь, перед добрыми людьми скажу, не испугаюсь... все, глядишь, какой целковый добуду... все в дом... тебя же, черта, содержу, кормлю... Щенят вот твоих... нарожал, а кормить не можешь... Мо-о-лчи уж! Дня тебе без меня не прожить, часу... Издыхал бы уж, что ли, скорее... к одному бы

концу... развязал бы мои руки... разбойник, вор!.. Ничего положить нельзя... из дому тащит... Как чуть что недоглядела, не убрала — не зови своим: пропадет... Так и глядит, как бы что стащить! Намедни что: положила восьмушку чаю на полку вон... отвернулась куда-то... по воду, что ли, пошла — прихожу: ни его, ни чаю! А, да все равно, что об стену горох, слова мои ему... Вот только и мастер и умен на два дела — вино пить да на гармошке играть: гармонью себе завел... все лето, должно быть, за нее работал! Бережет пуще бог знает чего... Ты погляди-кась какая... ума рехнешься. Жрать нечего, зато жить весело. Вот и зудит на ней и будни и праздник, тешит сам себя, словно некрут... Дураку забаву бог послал... говорить стыдно... Дурак, да и все!.. А как вот глотнет этого-то, — она кивнула на бутылку, — черт-чертом сделается... так и гляди, чего бы не спалил... зверь-зверем!.. Что глядишь?.. Что глядишь-то? — оборотилась она к нему. — Бельмами-то хлопает!.. Неправду говорю?.. Чем так-то сидеть, — продолжала она, помолчав, — ты взял гармонь да сыграл бы, гостя потешил... Все лучше, ничем лаяться-то!..

— Да не надо, пожалуй, — сказал я, — спать бы лечь...

— Рано... успеешь... ночь-то год... Да опять все одно спать не придется... проснутся, гляди, щенки-то... дадут тебе покой, дожидайся... Сыграй, Андрюх!

— Так я тебе и стал задаром-то, — сказал сильно захмелевший мужик, — ишь... на кой ты мне!

— Да тебе и не сыграть сейчас, — подзадорила, очевидно, хорошо знавшая его слабую сторону баба и подмигнула мне глазом, — где тебе: распустил слюни-то... где уж тебе сыграть!.. Не можешь... не умеешь!

Она прямо попала в цель. Мужик сразу обозлился и, крикнув: — Кто, я не умею? — сорвался с места, нагнулся, полез под казенку и достал оттуда футляр с гармонией. — Я не умею? — повторил он, ставя его на пол около стола. — Я?.. Ах ты, трепло чертово!

— От такого слышу...

— Я не умею? — повторил опять он, открывая футляр и доставая оттуда прекрасную, изящно сделанную, большую, так называемую «венскую», вероятно, стоившую хороших денег гармонию.

Он взял ее, перекинул широкий ремень через плечо, сел и, посмотрев на меня, пробежал тонкими и длинными пальцами по клавишам.

— Чего тебе сыграть? — спросил он.

— Все равно, играй, что хочешь, — заинтересовавшись, ответил я.

Он опять пробежал по клавишам и вдруг, приподняв немного голову и не глядя на нас, запел чистым, высоким, легким альтом:

В далеких краях Забайкалья,  
Где золото роют в горах,  
Бродяга, судьбу проклиная,  
Тащился с сумой на плечах...

Пропев, он сейчас же это самое заиграл на гармонии, и, удивительное дело, услышав эти прекрасные, неожиданные ворвавшиеся, точно прилетевшие бог знает откуда сюда, в эту убогую избушку, жалобные, плачущие и тоскующие звуки, я почувствовал, что у меня точно что-то сразу оборвалось в груди и что мне трудно дышать и хочется плакать...

Идет он густою тайгой,  
Где пташки одни лишь поют,  
Котел его сбоку тревожит,  
Сухарики с ложкою бьют...—

запел он опять, и это же самое, только гораздо лучше, пропела гармония...

Бродяга к Байкалу подходит,  
Рыбачью там лодку берет,  
Унылую песню заводит,  
Про родину что-то поет...—

продолжал он дальше, и мне под это пение и игру делалось все грустнее и грустнее. Мне почему-то стало жалко и его, и «шпитат» в люльке, и других, а пуще всего самого себя. Я закрыл глаза, слушал, и быстро и необыкновенно отчетливо пронеслись передо мной картины из моей жизни... Детство, юность, любовь, пьянство, нужда, грязь, мерзость всякая, ложь... все разворачивалось, как клубок с нитками, и иное трогало, и хотелось вернуть его, а иное, чего было больше, возмущало, жгло стыдом, и хотелось забыть, отогнать, уничтожить его...

Он кончил, посмотрел на меня и, очевидно, увидав и догадавшись, что произвел на меня впечатление, засмеялся и сказал:

— Что, орел я, а?.. Как, по-твоему, орел?..

— Орел, — повторил я. — Играешь хорошо... Где учился?

— Нигде не учился. Я к этому с издетства привержен. Другие вон ребята, бывало, в карты норовят, к девкам спать, а я все с гармонией... охота моя... люблю!.. Меня на балы играть зовут... Поп вон, когда именинник, прикащик, учитель, в город зовут на свадьбу, на именины, допьяна поят, а уж ешь, что твоей душеньке угодно... Деньгами дают.

— Недешево небось стоит? — спросил я, кивнув на гармонию.

— Семнадцать целковых дал, как единую копейку!.. В Москве брал, на Тверской в магазине.

— При наших-то недостатках все такие гармонищи покупать,— вступилась баба,— заместо ее-то три мешка муки бы... без малого на полгода еды... Все лето на эту гармонику и работал... Скажи, какой грош расколотый подал в дом?.. Ничего не подал!.. Одна все и бьюсь... где на подсику, где как. Да кабы не шпитаты вон, издохнуть бы надо...

Мужик промолчал и бережно обтер подолом рубашки крышку у гармонии и так же осторожно уложил ее, точно мать ребенка, в футляр и спрятал под казенку.

— А ну тебя к черту и с работой-то с твоей и со шпитатами-то! Надоела... все глаза проколола... Ест, как ржа железо... Скажу вот объездному слово одно... узнаешь, каки шпитаты.

-- Чего ты скажешь-то?

-- Я знаю чего...

-- Говори... так тебе и поверили, пьанице, дармоеду... Сиди уж! Развезло...

Они опять сцепились, и, повидимому, дело у них дошло бы до серьезного, если бы вдруг как-то неожиданно громко и жалобно раздавшийся из люльки крик ребенка не прекратил эту ссору.

— Теперича пойдет! — махнув рукой, сказал мужик.— На всю ночь!

Он посмотрел, наклонив набок голову и прищурив глаз, на бутылку.

— Допить бы уж, осталось маленько, а? Сам ты мало пьешь... чего на нее глядеть-то?

— На, пей,— сказал я, отдавая ему бутылку.— Да и спать пора... Я тут вот на скамейке и лягу... можно, что ли?..

— Ложись, где хошь... тесно только... неловко тебе...

— Ничего, как-нибудь пролежу ночь-то...

— Знамо, в тесноте, да не в обиде... так ведь, а?.. Как тебя? Михалыч, а? Что, орел я? Хы, хы, хы! Не умею играть, а?.. Орел я? Как тебя, а?..

Он допил водку и сидел, посоловевший, тараща на меня глаза. В люльке завопил и другой ребенок. Баба отдернула тряпку и, сказав: «о, чтоб вам издохнуть», вынула оттуда одного из них, и я увидел у нее на руках что-то такое страшное и ужасное, от чего у меня невольно пробежал по спине мороз.

— Эва, каки гусары! — сказала баба, поднимая ребенка к свету и показывая мне, — вот и походи за ними...

В развернутой грязной, мокрой, сильно пахнувшей тряпке барахталось у нее на руках, дрыгая ножонками, похожими на лучинки, пузатое, со сморщенным, точно сморчок, личиком, живое существо и не плакало, а невероятно громко, жалобно, отчаянно вопило, заглушая все, так что звенело в ушах...

Из люльки несся и вторил ему такой же вопль.

— Вот они, возьми их за рупь за двадцать, — сказала баба и начала «тюлюлюкать» ребенка на руках, кидая его, как чурбашку. — Нишкни, нишкни! — говорила она. — Нишкни! О, чтоб вам издохнуть, дай, господи!

— Стукни его вон об печку об угол-то, — посоветовал пьяный мужик, — заткни ему пасть-то!.. Набрала щенят... покою нет... Удавить их вот взять у тебя на кресте...

— Молчи, дьявол! — огрызнулась баба. — Сиди уж, жри!.. Да ну, чего ты орешь-то, зевло? — набросилась она на ребенка и начала еще шибче швырять его, так что он весь посинел. — Чего тебе недостает-то? Жрать хочешь?.. На, на, на! На, на, вот, чертенок! — Она взяла со стола хлебного мякиша, разжевала его и стала совать ребенку в рот. — На, жри!.. На, подавись! Засад тебе в глотку-то! На, на, на! О, чтоб вас черт-то задрал, окаянная сила!..

— Да будет тебе, — сказал я, не утерпев, — чего ты его, дура, мучаешь-то?..

— Дура! — злобно передразнила она меня. — Ты умен больно!.. Пришел невесть отколь... На, уйми, коли умен! Всякой черт придет, лается тоже... Дура! — повторила она. — Не дурей тебя!

И, обозлившись от моих слов и сделавшись похожей на какую-то ведьму, грязная, длинная, полупьяная, она с каким-то остервенением начала швырять ребенка.

«Что ж мне делать? — подумал я, глядя на это истязание и чувствуя, что у меня все поднимается и дрожит от злости.— Уходить надо, пока не поздно, подобру-поздорову в другую избу... нельзя здесь быть... или как?..»

— Брось! — сказал я опять.— Положи его в люльку да дай хоть воды в сосок теплой из самовара, с сахаром...

— Да ты что за учитель такой пришел, а? — опять набросилась она на меня.— Тебе-то что за забота?.. Чего он тебе приболел очень?.. Жалостлив некстати... своих щенят иди нянчай!..

— Ну, как знаешь,— сказал я,— а я уйду.

— Иди, шут с тобой!.. Не заплачу...

И, окончательно обозлившись и желая сделать мне на зло, она схватила ребенка одной рукой, как-то по-особенному, за бочок, и буквально швырнула его в люльку.

— Проклятые! — со слезами в голосе крикнула она и вдруг заплакала и села к столу.— За что я такую муку терплю? За что меня господь, царь небесный, наказал только?! — начала, воя, причитывать она, и ее вой, соединившись с воем детей в люльке, стал похож на вой волков, когда они осенью, темной ночью, где-нибудь в лесу, одуревшие от голода, на разные голоса, задрав кверху морды, необыкновенно дико и вместе жутко-жалобно воют, жалуюсь на свою проклятую долю.

— Я говорил давеча тебе — спокую у меня нету,— сказал мужик, покуривая и поплесывая на пол.— Вот вишь ад крошечный, боле никаких!.. Пойдем к Бурixe, я тебя сведу... там у ней почувшь... половиночку еще купишь, раздавим, и, боже мой, как гоже!..

— Я те дам половиночку,— своих не узнаешь! — крикнула баба.

— А что ты мне за указка?.. Боюсь я тебя, как ле-тошнего снегу... Надо же человека проводить... дура, ляпа!

— Сам найдет, не маленький, провожать-то его... Сумел прийти, сумеет и уйти... Ишь ему загорелось, не сидится... учитель тоже... диви барин какой, господин, крику слышать не может... Много вас учить-то, а ты поживи на моем месте!..

— Чего ее слушать? — опять сказал мужик.— Ее ведь не переслушаешь! Пойдем, да и все... чего тут-то сидеть, вой-то слушать?.. Там по крайности в тишине и все такое... пойдем!

— Нет, не пойдешь! — задорно крикнула баба и встала, держа в руке какую-то тряпку.

— О-о-о! — так же задорно произнес мужик. — Ишь ты!.. Н-да... испугался... тише, военный, портки разорвешь!.. Пойдем,— снова обратился он ко мне. — Гармошку захватим, разделаем под орех — дальше ехать некуда!

— Нет, не пойдешь! — повторила опять с ударением баба. — Не пушу. Ты гулять будешь, а я одна вертись за всех вас, как сучка какая!.. Ишь ты!

— Что мне с тобой тут обнявшись сидеть? Нянька я тебе?

— Нянька не нянька, а сиди, слушай! Не одной мне за щенятами-то ходить... За своими-то ходи, да за этими вот, за проклятыми...

— А кто тебе велел брать?.. Завистлива больно!.. А надоело — взяла да придушила, аль дала чего... всего и дела... Об чем толковать-то?.. Пойдем! Ну ее к черту! Пущай сидит тут... не привыкать ей... Небось не издохнет? А мы выпьем... рвись ее сердце!..

От этих его слов произошло гадкое дело. Не успел еще он путем досказать их, как она, обезумев от злобы, перегнувшись как-то и сделавшись похожей на кошку, когда она, фыркая, с поднятой шерстью, блестя глазами, стоит перед носом боящейся схватить ее собаки, прыгнула к мужу и ударила его не рукой, а ногой в живот. Мужик ухнул и упал навзничь... Вскочив, он бросился к ней. Она взмахнула бывшей у нее в руке тряпкой, желая ударить его по лицу, но не попала, а задела за лампу и погасила ее. В избе моментально настала кромешная тьма и началось поистине что-то невероятное дикое и страшное. В непроглядной тьме они сцепились, сквернословя во всю глотку. «Шпитаты» в люльке и ребята на печке визжали и вопили так отчаянно-жалобно, что невозможно было без содрогания слушать. Растерявшись и не зная, что делать, как быть, я чиркнул спичкой и осветил избу. Пока она горела, я увидал, как муж и жена, забившись в темноте под койку-казенку, дрались и, как мне показалось, кусали друг дружку зубами, точно собаки. Я зажег другую спичку и тоже закричал, стараясь заглушить своим голосом и ихний крик и вой детей:

— Бросьте, дьяволы! Что вы делаете?..

Но это не помогло. Тогда я опять зажег новую спичку

и кое-как, торопясь, дрожащими руками засветив лампу, полез разнимать их.

Но и это нелегко было сделать. Мы все трое сваялись в одну кашу, и от моего разниманья толку было мало. Они совсем одурели, перестали понимать, что делают, и я отлично видел, что если бы у которого-нибудь из них было в руках какое-нибудь оружие, например ножик, то непременно произошло бы кровопускание.

— Бросьте! Бросьте! — закричал я, отпихивая то одного, то другого. Но они опять схватывались, и вот вдруг, уж и не знаю как, в пылу этого дикого побоища, кто-то из них задел или ударил нечаянно по люльке, и она от этого удара, описав дугу, ударилась об столб казенки, и из нее вылетело на пол скорчившееся, пронзительно вопиющее несчастное тельце.

— Батюшки-светы! — закричала баба, увидя это. — Убил!.. Убил, мошенник, убил.

И вдруг, подскочив к окну, наклонившись к стеклам и приложив ладони по обеим сторонам рта, закричала:

— Караул! Караул! Караул!.. Убил... Караул! Убил!.. А-а-а! А-а-а! Караул!..

Я бросился к ребенку и взял его на руки. Сердце мое сжалось, и ужас наполнил душу.

— Господи, — закричал я, — что вы делаете?! Что вы делаете, несчастные люди?!

— Наплевать! — совершенно равнодушно, точно ничего особенного и не случилось, сказал мужик, отряхиваясь и приглаживая на голове рукой волосы. — Не издохнет... а издохнет, туда ему и дорога... других, шкура, натащит... не привыкать стать морить-то!.. Погоди! — обратился он к бабе, грозя кулаком. — Я с тобой сделаюсь!..

Ребенок, весь посиневший, страшный, легкий, как перышко, кричал и бился у меня на руках, и я не знал, как быть, что делать.

В люльке кричал другой, с печки тоже несся вой; переставшая кричать баба стояла лицом к окну, всхлипывала и бормотала про себя что-то.

— Возьми ребенка, — обратился я к ней, — убился...

Она обернулась ко мне, посмотрела, хотела что-то сказать, но не сказала, а зарыдав вдруг необыкновенно громко и жалобно, выхватила его у меня из рук и бросила в люльку.

— Провалиться бы мне сквозь землю, ничем так жить! — произнесла она с таким отчаянием в голосе, что мне стало ее жалко и совестно, что осуждал.— В удавку влезть легче...

Она завывала и начала качать люльку. Я, оглушенный этим общим воем и одуревший от всего виденного и слышанного, с болью в сердце, с мыслями о своих детях, схватил свой мешок, картуз и, не прощаясь, выскочил за дверь на мост. Здесь, чиркнув спичкой, я увидел дверь на улицу и, отворив ее, сразу попал, точно окунулся, в черную, непроглядную тьму.

Из избы слышно было, как плакали дети и как опять, немного погодя, пока я стоял и приглядывался к темноте, начала ругаться баба, проклиная их.

— Матери этих детей, где вы?! — мысленно воскликнул я и направился к видневшемуся где-то в избе и дрожавшему, как звездочка, на другой стороне деревни огоньку.